

СОВЕТСКИЙ КИНЕМАТОГРАФИСТ В ЗАГРАНИЧНОЙ КОМАНДИРОВКЕ

Эти разговоры с лауреатом Ленинской премии Тенгизом Евгеньевичем Абуладзе велись во время VII Международного кинофестиваля в Стамбуле, где мы оказались вместе. Признаться, до этих дней я не была знакома с Абуладзе и даже несколько побаивалась его. Впрочем, как мне думается, журналист, критик и должен робеть перед большим художником.

Скажу больше. Я была не безусловной сторонницей «Покаяния». Призывая не стоять перед автором фильма на коленях, а спокойно и трезво анализировать ленту, я в свое время кое с кем из стилистических критиков даже поссорилась... Смешно, но факт: надо было уехать в командировку «туда», дабы понять, что такое «Покаяние» для людей сегодняшнего мира. Но уже первый совместный завтрак неизбежно сблизил — на Абуладзе буквально набросились, сначала Рональд и Доротея Холлоуэй, свившие, между прочим, большую документальную картину «Кипчов». Теперь же они чуть не с первого слова заговорили, а нельзя ли попробовать сделать картину об Абуладзе? Они готовы приехать в Тбилиси, в Москву, или, может быть, мистер Абуладзе найдет возможность заглянуть в Западный Берлин, в Лос-Анджелес?

Затем появился критик Клаус Эдер из Мюнхена, руководитель Фипресси, который заговорил о романе Гюнтера Грасса «Нрысиах», который, как ему известно, очень заинтересовал Абуладзе.

Потом возник Джордж Ган, человек несколько медвежьего вида, кажется, бывший хоккеист, озабоченный не более, чем как директором фестивалей в Сан-Франциско. В свое время там показывалось «Покаяние». Одним словом, появилось множество старых и новых знакомых — Петер Бачо, Иштван Сабо, Йон Песку-Голо и другие.

Началось с того, что мне довелось присутствовать на любопытных деловых переговорах, которые вела с Абуладзе кампания, возглавляемая известным турецким писателем и общественным деятелем Рефиком Ордунаном. Несмотря на то, что у режиссера сейчас в работе фильм по произведению Ильи Чавчавадзе, Абуладзе весьма заинтересовался предложениями турецкой стороны. Почему? Режиссер объяснил — предлагают невероятные условия. Фильм может быть турецким, советско-турецким, на правительственном, на частном уровне, как угодно. А главное — сюжет: от Шекспира до Важи Пшавелы. Более того, даже до сегодняшних коллизий перестройки. Словом, условия без... условий.

Еще мне хотелось бы рассказать о малом на первый взгляд — об Абуладзе и грузинах в Турции, как я это наблюдала. Оказалось, их здесь немало, и они, естественно, сразу возникли как из-под земли, налетели. Когда мы подъезжали, подходили, выходили, у кинотеатра, из кинотеатра, с пресс-конференции, на пресс-конференцию, одним словом, в нашей фестивальной беготне они возникли где-нибудь в отдалении и почтительно, но с восхищением ждали, пока мастер их заметит. Мастер, заметив, словно замирал на месте — чувствовалось, что все от него отлетало мигом. Сразу. Весь этот фестиваль, встречи, призы, слава — все. Если бы можно было, он бы удра сейчас с теми немедленно, как мальчишка, и гулял до утра. Но те были почтительны, и их почтительность, степенность словно передавались и Абуладзе. Он молча ждал, весь напряженный, как струна, потом они сближались.

Мы встретились наутро — он мог без конца рассказывать.

— Знаете, они совсем почти забыли язык, видно, живут здесь давно. Или — уже родились здесь. Мы почти совсем не понимаем друг друга. Но — понимаем! Потому что, хотим понять. Они очень разные — есть совсем бедные, но марку держат...

Мне пришлось присутствовать на дискуссии Тенгиза Абуладзе и, думается, равновеликого ему венгерского режиссера Иштвана Сабо, автора «Мефисто» и «Полковника Редля» (и ней мы еще вернемся). Эта дискуссия проходила в «Моде», нечто вроде наших кинолюбков, в фойе чуть ли не под балконом бельэтажа, у входа в кинозал, то есть на юру. И сначала было человек двадцать, потом пятьдесят, потом сто, а потом весь будущий сеанс стоял вокруг нас и кто-то попросил не курить, потому что оба — и Сабо, и Абуладзе — не курят.

Так вот, в этой дискуссии, проходившей с перевесом то в одну, то в другую сторону, которая велась с блеском элегантности Иштвана Сабо и, как всегда, с большой мерой серьезности — Абуладзе, думается мне, верх взял все-таки последний, и не потому, что кто-то говорил лучше или хуже, интереснее или менее интересно, и я потом долго думала, в чем же все-таки дело? И поняла — верх взял не сам Абуладзе и даже не «Покаяние», а просто обращение таланта к острейшей, экстремальной социальной проблематике, которая резко повернула на менее элитарный, чем у Сабо, кинематограф в сторону самого широкого сегодняшнего зрителя.

Но это к слову. Это был только один из разговоров, которому я была свидетельницей. А их было много — частных и общих, на улице и в машине, в зрительской аудитории и с глазу на глаз. Из них и родились эти заметки.

Хочу еще предварить несколькими словами, чтобы было понятно. Фильм «Мольба», открывающий известную трилогию, был запрещен цензурным комитетом фестиваля в Стамбуле к показу (о чем наша газета уже писала). Но это событие, поначалу воспринятое Абуладзе на юморе, оказалось очень серьезно и сразу бросило нас, всю нашу делегацию, и прежде всего самого режиссера, в орбиту ярых споров о свободе творчества, о свободе личности, о самой сути запрета, о компромиссе и так далее. Это чтобы было дальше понятно.

...Итак, мы с вами находимся на первой пресс-конференции советской делегации на фестивале.

В каталоге, предположительно киносмотр, так написано об Абуладзе: «Только эпоха «Glasnost», пришедшая вместе с Горбачевым, позволила фильмам режиссера пробиться на мировой экран». И потому первая же встреча была обозначена как «Glasnost» и свобода творчества в советском кино». Нс в разное время и по разным поводам Абуладзе отвечал по-разному, словно размышляя сам с собой над этой неоднородной проблемой.

Я постаралась здесь и эти нюансы передать. — Да, если бы не Горбачев, я бы не сидел здесь перед вами. Что касается «Мольбы» — ее на экран выпустили, но очень малым тиражом и она шла кое-где по провинции. О ней знали кинематографисты, но не зрители. Теперь после «Покаяния» ее смотрят, о ней пишут и говорят широко.

Во всем виноваты бюрократы, и об этом я буду делать следующий свой фильм.

(Речь идет о картине на основе произведений Ильи Чавчавадзе. Хстя заранее предвижу, читатель удивится — как это, Чавчавадзе и бюрократы?)

— «Покаяние» я начал делать в восемьдесят первом и закончил в восемьдесят четвер-

том году. Будучи завершающим, фильм два года лежал на полке и вышел на экраны только благодаря решительным преобразованиям в нашем обществе, благодаря перестройке и гласности.

Но можно ли при этом говорить, что я как художник не существовал, скажем, до 85-го года?

Нет, это было бы неправильно и неточно. Мой первый фильм «Лурджа Магданы», сделанный совместно с Резо Чхендзе, был о том же. О свободе личности. О человеке и о власти. Только на примере мальчика и его ослика.

Т. Абуладзе: Идти до конца, если ты художник



Помню, как неприятно встретило начальство мою следующую ленту — «Чужие дети». Очень простая история — человек после трагического случая остался один с двумя детьми на руках, и его любит девушка, живущая рядом, простая, тихая. Она приходит, делает все по дому, смотрит за детьми, ничего не требует взамен. А он вдруг — и это как навзничие! — влюбляется в другую женщину, идет за ней, как во сне. Бросая детей, бросая все. Эта очень простая житейская история показала тогдашнему начальству вызовом. Были пятидесятые годы, nasce кино трезво освобождалось от пут прежних догм и канонов, фильм о простых людях стал одной из попыток сломать привычные для чиновников от искусства стереотипы. Меня обожали «абстрактным гуманизмом», а я просто продолжал делать свое дело.

И для меня тирания — не привилегия должностных лиц, тираном может быть муж (спросите у женщины), лавочник. Даже режиссер. Это, так же как добро, — категория вневещная. Гитлер, фашизм, да, но можно ли сказать, что все немцы тогда были фашисты? Так нельзя говорить. Андрей Белый говорил — есть люди скотоподобные и богоподобные, это грань не между нациями, но между людьми.

...По знаменитому, полторакилометровому и самому большому в Европе Босфорскому мосту мы мчимся по ту сторону Босфора в кинотеатр «Мода», где идет уже упомянутая выше дискуссия Иштван Сабо — Абуладзе.

И первый вопрос к обоим мастерам: — Есть ли у кино шанс? Что вы думаете о сегодняшнем положении кино в ряду других искусств — ТВ, видео, прочих наступающих со всех сторон? Может ли оно выжить и как?

— Я думаю, — говорит Абуладзе, — что кино — величайшее из искусств, но оно очень редко бывает таким. Оно не может изменить мир, но может изменить общественное мнение. Есть люди с духовными запросами, а есть — только с материальными. Кино не обязано удовлетворять всех. Или оно доходит и доставляет удовольствие, или не доходит. Если у человека нет духовных потребностей, искусству к нему пробиться трудно. Я согласен, что кино может сильно повлиять на общественное мнение. А стало быть, и на жизнь народа.

(Я долго не могла понять, почему Абуладзе говорит так неторопливо. Короткими, но четко выверенными, взвешенными фразами. Или для перевода? Он и ходит спокойно, медленно — это был контраст с вечной беготней и суетою на фестивале. Когда ни войдешь к нему в номер — он будто всегда готов к отъезду: две упакованные дорожные сумки стоят на столике: возле двери. Словно и не живешь здесь человек. Потом понимаешь, меланхолическая неторопливость — это не поза, не уверенность в себе, это исконное, это вот он такой и, говорят, был всегда).

— Новая техника все сметает на своем пути. Может ли кинг исчезнуть вообще?

— Это вопрос очень сложный. Но техника, какая бы она была, не убьет живую мысль, живое чувство. Шарден говорил — художник пользуется красками, а пишет чувство. Без глубокой мысли, страсти нет искусства. Я говорю элементарные вещи, но сила всегда в простых вещах.

— Что важнее в искусстве — нравственная, проблемная его сторона или художественная, эстетическая?

— Важно и то, и другое. И нравственная,

и социальная сторона. Но так же важны форма и стиль. Форма — это суть искусства.

— В вашем фильме «Древо желаний» боится добро и зло. Хорошие люди слабы, плохие оказываются сильнее. Почему? Нет ли здесь пессимизма?

— Они не слабы, они бедны. Но богаты духом. Это дает им оптимизм. Для меня здесь нет пессимизма. Фильм по произведениям Георгия Леонидзе, воспоминаниям его детства, и действие происходит в самый канун революции. Они, эти люди, все мечтатели. У Леонидзе сочные и яркие образы людей. Искусство живет долго благодаря характерам и образам. Если этого нет, нет произведения искусства. Образы рассыпаны, как бриллианты. Когда я работаю над классическим произведением, то стараюсь быть по-рабски верным духу этого произведения.

А живут... Да, живут они плохо, а их жалю.

(Самое главное у Абуладзе, — здесь включается Иштван Сабо, словно защищая его, — это невидимый смысл, подтекст, но это не пессимизм. Это очень четкое позитивное восприятие мира, которое и дает человеку ве-

му чиновнику или даже руководителю говорить от имени народа? Никто не может решить, никто не может предвидеть, как будет воспринято то или иное произведение искусства, или даже творчество того или иного художника, или даже целое направление, никто! Сегодня — да, так, а завтра? А через годы, через десятилетия? Я не работал бы в кино, если бы не считал его великим искусством. Но бывает и так, что публике, зрителю кажется, что он не принимает того или иного фильма, а на самом деле, он даже не отдает себе в этом отчета, что это вынуждено ему — и не сегодня, и не вчера, и даже не годы назад, а куда дальше, — вынуждено ему мнение. Мне говорили, что о «Калине красной» Шукшина шли в том числе письма, требующие запретить этот фильм об угольнике как вредный для народа. А во многих местах, независимо от этого, чиновники тоже не допускали его к показу.

Публика для художника социальный заказчик, но можно ли, будучи микроскопической частью этой публики, говорить от ее лица в целом? Нет, это обычная для бюрократа узур-

пация власти. Он пытается оправдать свое назначение.

И все-таки я скажу. Скажу о диктатуре публики. Потому что, если она сегодня уходит из зала и не принимает тебя, ты все равно должен делать свое дело. Ты — художник. Ты сам свой высший суд. Так говорил Пушкин. Но если ты истинный художник, ты неизбежно выражаешь интересы народа, даже если этот народ на каком-то этапе тебя пока не принимает.

ру и смысл жизни. Мысль, которая вкладывается в искусство, — это не только мысль его, художника, но и всего общества. И эта мысль словно бросается нам в лицо.)

— Насколько все-таки перестройка, эпоха Горбачева изменили вашу судьбу? (Как видите, этот вопрос звучит с настойчивостью, упорно, снова и снова.)

— Вы хотите спросить, — и меня часто спрашивают об этом, — как у вас, у Абуладзе, с перестройкой? Я отвечаю — мне не надо перестраиваться. Я жалю, что вы здесь, в Турции, не видели «Мольбы». Мое нравственное и художественное кредо осталось тем же, что и двадцать лет назад. Правда, и только правда, какая бы горькая она ни была. Никогда не говорить «да», если сердце говорит «нет». В. Розанов писал — не по думанию любим, а по любви думаем. Но если я говорил, что мне не надо перестраиваться, то есть не надо изменяться, то разве мне не надо развиваться? Как и всем, как и искусству, как и любому художнику...

— Как сегодня себя чувствуют у вас в стране бюрократы, чиновники? Препятствуют ли они тому, что хотел бы сказать художник? Насколько полна свобода творчества в СССР? Или вы идете на компромисс? В какой степени?

(В этом месте Иштван Сабо начинает парадоксально развивать свою мысль о сущности компромисса вообще для человека, для художника. Он, сделавший «Мефисто», признает неизбежность компромисса в достижении творческой и нравственной цели. И словно заряженный им, бросается в атаку на Абуладзе.)

— И я иду на компромисс. Иначе я просто не могу снять свой фильм. Я снимаю фильм на плохой пленке, с плохой оптикой, с плохой съёмочной аппаратурой, с неважными лабораториями. Потом будет плохая проекция, плохой кинопоказ. У нас об этом все знают и пишут постоянно, но воз и ныне там.

— Что вы скажете о цензуре, есть ли она у вас в стране и насколько сильна ее власть над художником? Во Франции, например, уже нет цензуры.

(Здесь Сабо рассказывает, как в одном телефильме, снятом, кажется, в Австрии, показали эпизод, как ребенку выкалывают глаз. Сразу же в больницы города начало поступать множество детей с аналогичными травмами. Мы же, со своей стороны, могли бы припомнить печальное повертие с фантомасами или выламывание цветных стекол у semaфоров после лампной сцены в «Экипаже». «В этом случае я за цензуру, — говорит Сабо, — но есть и другие человеческие чувства, и однозначно ответить на этот вопрос только «да» или «нет» нельзя. Если бы можно было ввести цензуру на плохое кино!)

— Я, — говорит Абуладзе, — целиком и полностью разделяю мнение Сабо. А кстати, к вопросу о цензуре. Она может существовать, как и тирания, на разных уровнях. Недавно я прочел письмо, — «Покаяние» идет урезанным чуть не вдвое — почему? Виновных, как водится, нет. А это та же самая цензура, только на местном уровне.

И хочу добавить — не цензура страшна, а самоцензура, воснившая в нас десятилетиями, а может быть, и веками. Вот что больше всего мешает работе. То, что художник сам себе запрещает.

Спор продолжается.

— Но есть еще цензура или, если хотите, диктатура публики...

— А этот вопрос еще сложнее. Нам говорить иногда от имени публики или, если хотите, народа. Да, именно так и говорят — народ этого не примет. Но кто дал право тому или ино-

— Когда для вас лично началась перестройка? И что вы думаете о ней?

— Я уже говорил об этом и могу только повторить. Мое поколение вступило в жизнь в пятидесятые, переломные для нашего общества годы, годы после Сталина. Что такое для меня гласность, перестройка? Это постепенное приближение к здравому смыслу. Постепенное приближение к правде. Это очень просто. Не лгать — себе, другим, каждому. Шекспир писал: ты лжешь невольно мне и, кажется, довольны мы вполне.

Если же говорить вообще о том периоде в истории, который пережила наша страна, то Лев Толстой в статье «Николай Палкин» писал:

— Зачем, — размышляет он, — раздражать народ, вспоминать то, что уже прошло? Прошло? Что прошло?... Разве может пройти жестокая болезнь от того, что мы говорим, что прошло... И разве не лежит на обязанности каждого делать все, что он может для исцеления ее и первое, главное, указать на нее, признать ее, назвать ее ее именем.

...Когда мы вернулись из Турции, меня спросили — ну и стоило вам ездить в этот самый Стамбул? Быть может, потому, что есть Канн, Венеция, Западный Берлин, Акапулько, Мар-дель-Плата, Рио-де-Жанейро, ну и что там еще?

Да, стоило, потому что в Стамбул мы прилетели с Абуладзе. Слава о его «Покаянии» уже перелетела континенты, моря и океаны — и его встречали прежде всего как человека «оттуда», с той стороны, где идет перестройка.

Уже не было разговоров ни о «руке Москвы», ни о «пропаганде», с искренним удивлением смотрели на человека, который отстоял себя в очень трудных условиях. Как художник, как гражданин. Это так много в нашем сегодняшнем мире.

Вот то немногое, что я хотела сказать на тему «Абуладзе и гласности».

Валентина ИВАНОВА.
(Спец. корр. «Советской культуры».)
СТАМБУЛ — МОСКВА.